

Максим Осипов
Крик домашней птицы

Максим Осипов
Крик
домашней птицы



издательство **астрель**

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6
О74

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

На обложке: фрагмент картины А. В. ЛЕНТУЛОВА
“Пейзаж с красным домом”, 1917

Издание осуществлено при техническом содействии издательства АСТ

Осипов, М.

О74 Крик домашней птицы: сборник / МАКСИМ ОСИПОВ. — М.: Астрель:
CORPUS, 2011. — 256 с.

ISBN 978-5-271-32288-4 (ООО “Издательство Астрель”)

В книгу вошли новые сочинения Максима Осипова: короткий очерк, давший название сборнику, три рассказа, комедия и драма. Созданные Осиповым герои ищут правду и смысл: их поиски не всегда удачны и даже не всегда честны, но приводят к неожиданным результатам. Описываемая автором жизнь страшна, темна, полна потерь, но все-таки в ней находится место для счастья. Пьеса “Козлы отпущения” может быть отнесена к жанру комедии лишь по преувеличенности, гротескности характеров, но не по ситуации — детективной — и не по способу ее разрешения. Скорее, это трагифарс, экзистенциальная шутка. Драма “Русский и литература” — как и публиковавшаяся ранее повесть “Камень, ножницы, бумага”, которая легла в основу пьесы, — это сочинение об иноприродной человеку сущности русского начальства, о предельной мощи ислама и о хрупкой, парадоксальной красоте христианской культуры. Герои по-разному переживают свое одиночество, по-разному относятся к самым важным вещам — к порядку, к свободе, к неизбежности смерти.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-271-32288-4 (ООО “Издательство Астрель”)

© М. Осипов, 2010
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2010
© ООО “Издательство Астрель”, 2010
Издательство CORPUS ®

Содержание

Крик домашней птицы вместо предисловия	7
Москва—Петрозаводск рассказ	13
Маленький лорд Фаунтлерой рассказ	39
Цыганка рассказ	61
Козлы отпущения комедия	97
Русский и литература драма	157

Крик домашней птицы *вместо предисловия*

Провинция — дом, теплый, грязноватый, свой. Есть на нее и другой взгляд, наружный, поверхностный, разделяемый, однако, многими, кто оказался тут не по своей воле: провинция — слякоть, мрак, живут в ней — несчастные, самое лестное, что можно о них сказать.

Крик домашней птицы разгоняет зло, за ночь набравшее силу.

Больничное утро. На койке — худой прокуренный человек, шофер, не домашняя птичка, у него — инфаркт. Страшное миновало, и он наблюдает, как лечат соседа, бомжеватого старичка, у того на запястье синее солнышко. Разряд — и сердечный ритм пришел в норму.

“Деду стало легче, реже стал дышать”, — произносит шофер из-за ширмы. Мы с ним переглядываемся. Разрешат ли водить автобус? И более злободневное: как бы не встретились у него в палате жена и другая женщина — та, что кормит его шашлыком. Шофер тоже кое-что про меня понимает, довольно многое: дикие птицы весьма проницательны.

Ясное устремление — любить не одних только близких, домашних, а — шире — людей и место. Для этого требуется вспоминать, приглядываться, сочинять.

Вот, из детского: мы с отцом куда-то идем далеко по жаре. Деревня, ужасно хочется пить. Отец стучится в незнакомый дом, просит воды. Хозяйка говорит: воды нет, но выносит холодного молока. Мы пьем и выпиваем много, литра, наверное, полтора, отец предлагает хозяйке денег, та пожимает плечами, произносит без выражения: “Милок, ты сдурел?”

Место — любое по-своему привлекательно, тем более — средняя полоса. Увлечься ею так же просто, как женщине — полюбить неудачника. “Да, мы любим эти скалы” — поется в гимне Норвегии. В нашем гимне тоже воспевается география, что при имеющихся размерах вряд ли прилично. Гимн сочиняли *другие*, не птички.

Помню еще: мне восемнадцать лет, я веду машину, старенький “запорожец”, у него из зада, оттуда, где у “запорожцев” двигатель, начинает валить дым. Сейчас

случится беда, взрыв. На тротуаре народ — отойдите, рванет! “Открой”, — говорит прохожий лет тридцати, берет тряпку и долго, спокойно тушит ею пламя, потом уходит — еще одна недомашняя птица.

Автомобильного, вообще — путевого, сразу много приходит в голову: в дороге домашние птицы подвержены неприятностям. Здесь происходят их встречи с птицами дикими, хищными, и встречи эти запоминаются — и неожиданной добродетелью, и невиданным, непредставимым злом. “Убийцы — средние люди”, — скажет полковник милиции, и ты, сосунок, домашняя птичка, вдруг это примешь, поймешь, это делается твоим.

Говоря о милиции: у врачей с ней тут свои отношения. Поднять на этаж больного, если лифт сломался, алкашей до утра забрать, чтоб в палате не буянили, даже машину из грязи вытащить — зовут милиционеров. Они тоже — носят форму и создают в местном обществе иллюзию защищенности.

Вместе с парнем, погасившем пламя из двигателя, тут же вдруг вспоминается потный расхристанный хоккеист. “Вам должно быть вдвойне приятно победить родоначальников хоккея у них на родине?” Улыбается беззубым ртом: “Да без разницы!” С его достатком — мог бы и зубы вставить, но, видно, и так хоккеист отлично кусает мясо. Очень цельное впечатление.

Что еще? Проповедь, слышанная на Покров: день, когда наши предки оказались побеждены, мы сделали одним из самых своих почитаемых праздников. Нет занятия проще, чем поносить церковь. Это как, например, ругать Достоевского: правда, все правда, но — мимо, всё не о том. Церковь — чудо, и Достоевский — чудо, и то, что мы до сих пор живы, — тоже чудо.

“Милок, ты сдурел?” — это могла быть одна из бабок, лежащих в первой палате. Бабки — не оскорбление, самоназвание. У самой тяжелой — голоса, видения: — Юр, ты? — Не, я не Юра, — говорит соседка. — А кто? — Я бабка. — А это кто, Юра? — другой соседке. — Нет, — отвечает та. — И я бабка. Ничего обидного в слове “бабка” нет, они и чувствуют себя — не старушками с ясным умом, как их столичные ровесницы-птички, а бабками.

Днем громко поссорились две санитарки. Одна здесь работает ради того, чтоб кормить себя и скотину — пищей, оставшейся от больных, другая владеет несколькими гектарами, ездит попеременно в Турцию и в Европу, а санитаркой устроилась, чтоб находиться в обществе. Впрочем, кажется, все еще запутанней: в Европу ездила первая санитарка, бедная, набрала кредитов, уже приходили судебные приставы.

Частное у нас — выше общественного. Налоговый инспектор, паренек двадцати с чем-то лет, наш проверя-

ющий: ох, говорит, хорошо, что вы врач, я от армии как раз... понимаете? Как не понять? “В порядке исключения” — надежная формула, каждый у каждого оказывается в руках. Пусть Москва не верит слезам, у нас только им и верят. Если надо, конечно, сделаем, в порядке исключения.

Безобразие, умиляться не стоит, но веселое участие во всеобщем обмане укрепляет единство нации не хуже хороших законов. За свет, за газ, за телефон не плачено? В столице отсутствие денег — стыд, а здесь, в общем, норма. — Эти счетчики — барахлят. — Как раз мой случай. А вы приходите, полечим. — Крестные, снохи, племянницы, водоканал, электросети, горгаз — понятно, уютно, тепло. Есть минусы, но способ жизни довольно устойчивый. Тут всё про всех знают. Как в раю.

Санитарки и бабки — днем, а к вечеру обнаруживается, что кое-что сделанное за сегодня далось усилиями явно избыточными, многое вообще не далось. В сумерках возвращаются злые, раздраженные мысли. В частности: куда подевались сообразительные люди? В нашем детстве их было достаточно. Что, уехали? Одно цепляется за другое, положительная обратная связь. В ночи с ее страхами душа уязвимей для зла. Вот еще: в дом нередко залетают синички, ласточки — это считается очень плохой приметой. Ничего не поделаешь — не жить же с закрытыми окнами — или уехать, если боишься, или при-

МАКСИМ ОСИПОВ

выкнуть, освободиться от суеверий. Все в таком роде мысли, пока не настанет утро, с перерывом на сон.

В Москве ли, в Петербурге, в провинции — жизнь страшна. Скажем так — и страшна. В ней есть вещи, о которых писать невозможно: гибель безвинных жертв, в том числе молодых и совсем детей. Страшный, необязательный опыт переживания их смерти — всегда с нами, его не выкричишь, не разгонишь криком.

А потом будет день, и опять будут птички — небесные, домашние, дикие, всякие. Мир не ломается, что ни случись, так он устроен.

Сентябрь 2010 г.

Москва—Петрозаводск

рассказ

Внимай, Иов, слушай меня, молчи.

Иов 33:31

Избавить человека от ближнего — разве не в этом назначение прогресса? И какое дело мне до радостей и бедствий человеческих? — Правильно, никакого. Так почему же, скажите, хотя бы в дороге нельзя побыть одному?

Спросили: кто едет в Петрозаводск? Конференция, с международным участием. Доктора, кто-нибудь должен. Знаем мы эти конференции: пара эмигрантов — все их участие. Малая выпивка, гостиница, лекция, выпивка большая — и домой. После лекции — еще вопро-

сы задают, а за спиной у тебя мужички крепкие, с красными лицами, на часы показывают — пора. Мужички — профессора местные, они теперь все в провинции профессора, как на американском Юге: белый мужчина — судья или полковник.

Итак, кто едет в Петрозаводск? Я и вызвался: Ладожское озеро, то да се. — Не Ладожское, Онежское. — Какая разница? Вы были в Петрозаводске? И я не был.

Вокзал — место страшненькое, принимаю вид заправского путешественника, это защитит. Как бы скучая иду к вагону, чтобы сразу видно было — я к вокзалам привык, грабить меня смысла нет.

Поезд Москва—Петрозаводск: четырнадцать с половиной часов ехать, между прочим. Попутчики — почти всегда источник неприятностей: пиво, вобла, коньячки “Багратион”, “Кутузов”, откровенность, затем агрессия.

Тронулись, все неплохо, пока один.

— Билетики приготовили.

— Девушка, как бы нам договориться?.. Я, видите ли... Ну, в общем, чтоб я один ехал?

Оглядела меня:

— Зависит, чем будете заниматься.

Да чем я могу заниматься?

— Книжечку почитаю.

— Если книжечку, то пятьсот.

Вдруг — двое. Чуть не опоздали. Два нижних. Сидят, дышат. Эх, чтоб вам! Не задалась поездочка. Досадно. Устраивайтесь, не буду мешать, — я наверх полез, отвернулся, они внизу возятся.

Первый — простой, примитивный. Голова, руки, ботинки — все большое, грубое, рот приоткрыт — дебил. Потный дебил. Телефон достал и играет. Треньк-треньк — в ознаменование успехов, если проиграл — бл-лл-лум, молнию свободной рукой теребит — тоже шум, носом шмыгает. Но, вроде, трезвый.

Второй, из-под меня, брезгливо:

— Курткуними, урод. — Раздражительный. — Не чвякай.

Тяжело. Колеса стучат. Внизу: треньк-треньк. Какая тут книжечка? Неужели так всю дорогу будет?

Вышел в коридор. В соседнем купе разговаривают:

— Россия относится к странам продолговатым, — произносит приятный молодой мужской голос, — в отличие от, скажем, США или Германии, стран круглого типа. В обеих странах я, заметим, подолгу жил. — Девушка радостно охает. — Россия, — продолжает голос, — похожа на головастика. Ездят по ней только с востока на запад и с запада на восток, исключая тело головастика, относительно густонаселенное, в нем можно перемещаться с севера на юг и с юга на север.

Это — слева от моей двери, а справа — пьют. Курицу рвут, помидоры руками ломают, чокаются мужики, гогают.

Вернулся к себе. Господи, как медленно идет время, только из Москвы выехали.

Еще полчаса, еще час. Скоро Тверь. Дебил тренькает. Второй ожил.

— Звук выключи.

— То-оль, эта...

Толя, стало быть. Высокий, метр девяносто, наверное, пальцы длинные, белые, с круглыми ногтями. Лицо — ничего особенного. Губы тонкие. Лица словно нет. Не знаю, как объяснить. Что-то мне не понравилось в Толе. Импульсов от него не поступало, вот что. *Anaesthesia dolorosa* — болезненная потеря чувств. Проводишь рукой и не понимаешь — гладкого касаешься или шершавого. Не очень я придираюсь? Трезвый, уčitивый, старается не мешать.

— Газеты, газетки берем, свежая пресса.

Мерси. Знаем мы ваши газетки: теннисистка раздевалась перед журналистами, трагедия в семье телеведущей, у миллиардера украли дочь. Секреты плоского живота. Криминальная хроника. Покойники в цвете. Тьфу. Толя, однако, газетку взял, пошуршал ею снизу. Через некоторое время — дебилу:

— Пошли.

Немножко один побыл. Да уж, поездочка.

Перед всеобщим отходом ко сну произошло еще несколько малозначительных событий.

Во-первых, из соседнего купе — оттуда, где пили, — забрел пьяный. В руках он держал фотоаппарат. Пьяный открыл дверь, изготовился фотографировать, Толя дернулся ему навстречу и тут же отвернулся, спрятал лицо. Ага, гэбэшник. Чекист. Теперь ясно.

Пьяный потянул меня к себе, я как раз собрался зубы чистить. Щелкнуть их надо с друзьями. Щелкнул. Всё? Нет, не всё. Я должен выслушать историю его жизни. Почти падает на меня: водка, пот, курево — на, дыши. Расстояние должно быть между людьми. Как в Америке.

Мама ему в свое время сто рублей подарила на фотоаппарат, а потом — денег не было — забрала. А он с детства любил фотографировать. Вот ведь, а?! Сочувствую. Я пошел.

— Стоять! — он мне стих прочитает, козырный.

— Извини, — говорю, — прихватило. Я вернусь. — Еле вырвался.

— Па-а-а... тундре, па-а железной дороге! — заорал он, раскидывая для объятия руки — всем, кто не сумеет увернуться.

У меня еще не худшие соседи, как выясняется. Подумаешь, гэбэшник. Молчит и не пахнет. И дистанцию держит: тоже, как я, брезгует.

Во-вторых, оказалось, что воспользоваться ближним сортиром не выйдет: кто-то доверху забил унитаз газетами. Намокшие цветные картинки — зачем?

В-третьих, вода для чая оказалась чуть теплой, возможно, некипяченой.

— С-с-совок, — проговорил Толя.

Нет, не гэбэшник.

Общий свет гаснет, попробовать спать. Что их двоих связывает? Ничего хорошего. Не родственники, не сотрудники. Может, гомики? Кто его знает. И какое мне дело? Может, гомики. Среди простых людей это чаще встречается, чем многие думают.

Те же звуки: тук-тук, шмыг-шмыг. Жалость к себе. Я уснул.

Я уснул и спал неожиданно крепко и долго, а когда проснулся, то ждали меня раннее солнце, снег и очень сильный мороз за окном, судя по состоянию елок.

Не глядя на попутчиков, я вышел из купе. Поезд встал. “Снуть”, кажется, не разобрал надписи. Во время стоянок пользоваться туалетами... Подождем. Эх, еще пара часов — и вожденный Петрозаводск, гостиница, теплая вода, обед с вином. На душе у меня было теперь много лучше. Что я, в самом деле, такой нежный!

Соседи мои были полностью укомплектованы: Толя, видно, вообще не ложился. Он сидел у окна, возбужденно крутил головой:

— Что, что такое? Почему стоим?

— “Сныть”, кажется, — сказал я. — Станция “Сныть”.

— Что? Серый, где мы?

— Полчаса стоянка. “Свирь”. — Серый производил теперь куда лучшее впечатление. Никаких детских игр, никакого шмыганья.

Серый ушел, поезд тронулся. Я кое-как умылся, выпил горячего чаю и еще больше повеселел. Хотелось жить: завтракать, балагурить, сплетничать про московскую профессуру, нравиться молоденьким женщинам-докторам. Мы не опаздываем? Прошелся, узнал. Вроде, нет.

Ой, а что случилось с соседом моим? Теперь, один, при свете дня, Толя производил очень жалкое впечатление.

— Анатолий, вам плохо?

— Что? — Он повернулся ко мне.

Боже мой, весь дрожит! Я такое наблюдал много раз: к концу первых суток госпитализации больной начинает дрожать, чертей отгоняет, а то и в окно прыгнет — белая горячка! Вот как просто. Толя-то, оказывается, алкоголик.

— Девушка, — кричу, — девушка! У пассажира белая горячка, понимаете? Алкогольный делирий. Аптечка есть? — Нет никакой аптечки. Правда, совок! Ничего

себе — к начальнику поезда! Да где искать его? — Винца ему дайте, я заплачу, он же вам все разнесет!

— Успокойтесь, пассажир, — говорит проводница. — Дружок его где?

— Да он еще в этой, Сви́ри, Свири́, не знаю, как правильно, вышел.

— Куда он там вышел? Билет до Петрозаводска! — Раскричалась. — Сортир засрал своими газетами! Всю пачку взял! Туалетной бумаги мало?

При чем тут сортир? Пассажиру плохо. От нее помощь требуется, а не истерика. Он там уже, небось, головой об стены бьется. Все, поздно, прорвало:

— Сейчас разберемся с вашим купе, мужчина! Снимем вообще с поезда! — Убежала куда-то. Черт, страшно в купе заходить. Стою возле двери, жду.

Станция “Пяж Сельга”. Милиционер идет. Да, этот разберется. Я, кандидат медицинских наук, не разобрался, а он разберется. У товарища Дзержинского чутье на правду.

— Так, документики приготовили.

На мои он едва взглянул. А с Толей произошла ужасная вещь: он забрался на столик и принялся колотить башмаком в окно. Не с первого раза разбил, но разбил: осколки, холодный ветер, кровь. Случилось все быстро. Милиционер ударил Толю резиновой палкой по ногам, и тот повис, схватившись руками за верхнюю полку. Потом грохнулся на пол. Как его выволакивали,

я не видел, проводница меня увела к соседям — к приятному молодому человеку и девушке.

Толю били под нашими окнами не меньше минуты: прибежал какой-то парень в спортивном костюме, странно легко одетый, еще милиционеры. Били черными палками и кулаками. Так лечат у нас белую горячку — не самое, прямо скажем, редкое заболевание. Стоит ли подробно описывать? Есть у них термин — “жесткое задержание”. В какой-то момент мне послышался костный хруст, хотя что там услышишь за двойными-то стеклами?

Били и что-то приговаривали, о чем-то даже, видимо, спрашивали. Сбоку откуда-то приволокли Серого, тоже били. Серый сразу упал, спрятал голову, сжался весь, с ним они так не старались. Устали, служители правопорядка.

Мы наблюдали за этим ужасом из окна, потом поезд тронулся.

— Ужас, какой ужас! — девушка плачет, зачем мы позволили ей смотреть? — Как страшно! Не хочу, не хочу жить в этой стране!

— Вот — то, о чем я говорил, — произносит молодой человек. — Но вздыхать на эти темы, охать, *контрпродуктивно*.

Я не сразу понял, что натворил. Так после роковой медицинской ошибки некоторое время отупело

смотришь на больного, на экраны приборов, на своих коллег.

— Они отлично подходят друг другу, — продолжал свою речь молодой человек, — избиваемые и бьющие. Вот если бы профессора из Беркли так избили, то он бы повесился от унижения. А эти встанут, отряхнутся, до свадьбы заживет.

— А вы бы? — спросил я. — Вы бы что сделали?

— Я бы? — он улыбнулся. — Уехал.

Мы все трое, по-моему, не очень соображали, что говорили.

— А отчего не уехать, — вступает девушка, — пока не побили? Нормальные люди не должны тут жить.

Мой новый товарищ опять улыбается:

— Не представляю, как пережил бы это путешествие, когда б не милая моя попутчица. В этом поезде даже нету СВ.

Я огляделся: странно, купе, как мое, а все здесь дышит порядком, благополучием. Молодой человек источает вкусный запах одеколona. Да, тоже на конференцию. Бывший врач, в нынешней *ипостаси* — издатель, журнал издает (“как Пушкин”), президент какой-то ассоциации, много чего другого. На столике полбутылки “Наполеона”. И девушка, правда, милая.

— Вам надо рюмочку. — И рюмочки у него с собой, из какого-то камня. Оникс, не знаю, яшма. Каменные рюмочки. Да, очень хороший коньяк.

Молодой человек объясняет, отчего до сих пор не уехал: культура.

— Скажем, для моих американских друзей *triple A* — Американская автомобильная ассоциация. А у нас какая ассоциация с тремя “А”? — Выдержал паузу. — Анна Андреевна Ахматова. — Победно оглядел нас и прибавил: — Да и бизнесы. — Так и сказал — *бизнесы*.

Хорошо отогреться под коньячок, когда стал причиной несчастья для двух человек!

— Вы абсолютно правы, — продолжает молодой человек. — Это не наша страна, это — их страна. — Разве я что-нибудь подобное говорил? — Мы с вами этих людей не нанимали себя защищать, заметьте. Действует своего рода негативный отбор. И вот результат: в рамках существующей системы гуманный мент невозможен! Система вытолкнет его. Что остается? Менять систему. Или опять — внутренняя эмиграция. На худой конец, — он трагически развел руками, — *дауншифтинг*.

Я поймал девушкин взгляд. М-да. Дауншифтинг.

В дверь постучали железным: “Через пятнадцать минут прибываем”. Надо идти к себе за вещами, сосед мне поможет, спасибо.

В разгромленном купе меня ждало важнейшее открытие: я понял, кем были Толя и Серый. Под лавкой рядом

с моим чемоданчиком стояли две огромные клетчатые сумки, с какими путешествует только одна категория граждан — челноки. И странная дружба моих попутчиков стала понятна — очень разные люди подались в челноки, — и зверское их избиение — тоже понятно.

— Сведение счетов с конкурентами, — согласился со мной молодой человек. — Ментовской заказ.

— А чего так стараться, если заказ?

— Для души. Я ж говорю, менты — не люди.

Челноки. Моему собеседнику есть что сказать и об этой сфере человеческой деятельности.

— Они, видите ли, выполняют важную общественную функцию, — говорит он своим красивым голосом. — Нам всем, всему обществу, в какой-то момент захотелось одного и того же — дорогих шмоток, часов “Ролекс”, не знаю, а тех, кто не может позволить себе швейцарский “Ролекс”, — он потрянул левой рукой, — тех челноки вроде ваших этих — как их бишь? — обеспечивают “Ролексом” китайским, каким угодно, но ведь это тоже часы, они время показывают. И выглядят хорошо.

Тяжелые сумки какие! Куда их теперь девать? Отдать проводнице? Нет, эта сволочь у меня ничего не получит! Молодой человек пожимает плечами, я вытаскиваю сумки в коридор:

— Поможете донести?

— Знаете что? — он думает. — Давайте-ка свой чемодан. Ну как я буду выглядеть с этими жуткими баулами?

Ладно, спасибо. Мне хочется сделать ему приятное, и я говорю:

— У вас такая милая спутница!

— Да бросьте вы! — отвечает. — Ни кожи, ни рожи. Семь с половиной баллов.

Зачем-то я уточняю:

— По десятибалльной шкале?

— Нет, по семи-с-половиной-балльной! — смеется он. — И в голове у нее все совершенно *topsy-turvy*, понимаете? — вверх тормашками.

Я удовлетворен: ничего у него с ней не вышло. Странно, что в подобных обстоятельствах меня это волнует, но провести время настолько по-разному было бы обидно.

Проводница равнодушно выпускает нас на перрон, девушку встречают, мы с ней прощаемся, ждем носильщика, потом, едва поспевая, идем за ним и видим транспарант: “Привет участникам...”, конференция действительно намечается серьезная.

Погрузившись в такси, молодой человек произносит:

— Знаете что, бросьте вы этих своих *избиенных*! — И тут же хмыкает пришедшей в его издательскую голову шутке: — Избиенных — ISBN какой-то.

— Но ведь именно я стал причиной их неприятностей! Не то слово — беды!